ПАЛЕЕВЫ

А вот и второе письмо. Палеев усмехнулся, испытав то удовлетворение, похожее на злорадство, которое посещает даже самого великодушного человека, когда его догадка подтверждается. Но удовлетворение, смешанное с раздражением от того, что его внимание вновь привлекают к вопросу, до которого ему нет никакого дела.

Серый конверт из пористой бумаги – по ней шорохом штрихов текут и адресные строки, и нижегородский штамп. И узнаваемый с первого взгляда почерк – тесный частокол букв, выведенных с нажимом, с изломом пера, с птичьими хвостами скупых росчерков. Палеев словно бы видел, как отец подписывал этот конверт несколько дней назад, в четырехстах лишь верстах отсюда – сидит за огромным столом, с единственной свечой, в душной темноте, подобрав перед собой руки, словно кролик, ухвативший морковку. Дыбится плечами, вытягивая шею, подслеповато сощурившись; крупный рубин мерцает на пальце темной кровью.

Первое письмо, поступившее пару недель назад, Палеев оставил без ответа, ожидание второго наполняло его смутной тревогой. Теперь держал его в руках, пытаясь предположить, как поступит. Проще было оставить все, как есть, как было на протяжении долгих лет, как окончательно установилось по смерти матушки. Но чувство сыновьего долга, не столько памятное, сколько непосредственно и с досадой ощущаемое где-то глубоко в груди или ниже, в мягком шраме пуповины, мутило

и беспокоило его.

Громада отцовского стола – прямиком из детства; масляные тени будоражат фантазию ребенка страхами. Скрип кресла, сосредоточенное покашливание – сейчас заметит его, сверкнет глазами: «Прочь!

Не мешай!» И этот окрик подстегнет ребенка, как опоясывающая вожжа, пока он второпях, вставая на цыпочки, меняет на полке одну книгу на другую.

Всегда тихая матушка оборачивалась вовсе незаметной, когда отец работал с бумагами. Все часы в доме становились слышны. Палеев замирал в ожидании неминуемого разряда, как только мерное тиканье прерывалось шорохом шестеренок, предвещающих бой. В этой сосредоточенной, как туча, работе было нечто колдовское, подобное зарождению в клубящейся выси грозы. Нечто жутковато неуправляемое всегда должно было произойти – приступ гнева или, напротив, нарочитой радости – грозы было не миновать, когда отец заканчивал

и громыхал старым ноющим креслом, поднимаясь. Сейчас вывалится

в пространство дома и вновь наполнит его живым шумом.

Пока повзрослевший уже Палеев не нашел в его бумагах лишь залежи простейших расчетов и банальностей, записанных старательным почерком школяра. Воспоминания впечатлений, как вода, что сочится сквозь корпус лодки и неудержимо топит ее.

Палеев решил прочитать отцовское письмо вместе с прочими за сегодня после ужина и распорядился подавать. Первое письмо он сжег, не распечатав.

Его тянуло к отцу, как небесное тело притягивает к солнцу. И как солнце же тот был невыразим, недосягаем и неучастлив. Любые проявления родительской ласки бывали словно отравлены постоянно ощущаемой в отце некоей задней мыслью, отличной от смысла произносимых им слов. Обращаясь к сыну, он часто хватал его за плечи и встряхивал, худого и испуганного, нахмурив кустистые брови или улыбаясь, смотрел прямо в глаза. Но смотрел не сквозь него даже, а словно бы

в сторону. Туда, где этого мальчишки не бывало в прошлом и не будет в будущем, в неназываемую, едва ли не оберегаемую отцом сторону,

в которой, видимо, и были сосредоточены его действительные интересы.

Выплеснув эмоции, Палеев-старший словно бы замечал сына, его взволнованный, но пытливый взгляд. И как человек, вдруг осознавший свою наготу, стремится прикрыться, чем только под руку подвернется, прятался за неизменной насмешкой.

Прошло немало времени, Палееву пришлось преодолеть и переработать умом и душой многие неясности и парадоксы окружающего мира, прежде чем он заметил, что его отец насмехается буквально надо всем. Между интеллектом и страстью лишь паяцу есть место, пришло ему юному в голову при чтении «Братьев Карамазовых». С тех пор образ отца хотя бы отчасти, хотя бы одной своей проекцией приобрел ясные очертания.

Но прежде, до того, как юный Палеев стал замечать какие-либо закономерности в происходящем, отцовские насмешки, чего бы они ни касались, воспринимались им как свидетельство силы и превосходства, исключительное могущество ума и проницательности. За язвительной насмешливостью Палеев подразумевал особую мудрость своего отца. Он искренне и целиком, без остатка восхищался этим замечательным и блестящим мужчиной, не успевая в пылу безраздельной любви осознать в себе это восхищение. Не успевал задуматься, как сильно хочет быть на него похожим, а просто напитывался, выстраивал каждую клеточку себя из его, отцовского материала.

Особенно завораживала способность отца неизменно побеждать.

Не так было важно побеждать кого, в чем и зачем, но сама по себе победа как таковая ослепительным образом греческой Афины привлекала юного Палеева и вдохновляла его. Лишь много позже, когда он осознал бесконечность времени, разглядел безграничье астрономического неба, это самое понятие «победа» словно рассыпалось в его руках пустым тщеславием очередного выскочки.

Отец насмехался над «дураками» и «слабаками», над «подлецами» и «мерзавцами», над «простофилями» и «чистоплюями», над «барами»

и «благородиями». Насмехался, даже когда не мог с ними справиться

и нес убытки или другое какое поражение. И уж совсем без удержу, с хлест-

ким, как удар кнута, злорадством насмехался над теми, кого сумел обмануть, «обвести вокруг пальца». «Я победил! Я Палеев! А не какой-нибудь…» – гудел он в такие минуты, раскрасневшись после горячих щей, скинув сюртук и расстегнув жилет – часы выпрыгивали из кармана и раскачивались на цепочке; на рубахе под мышками растекались пятна пота. Палеев ловил себя на мысли, что следит за полетом часов, которые вот-вот упадут и разобьются об пол. Отец широким жестом махнет на них рукой, но затем будет внимательно разглядывать, изучать на предмет починки и обойдет всех мастеров в городе в поисках меньшей цены. А ежели придется покупать новые, то лучше не попадаться ему на глаза, пока он будет привыкать к мысли дополнительных трат.

Фамилию того, другого – «Я Палеев! А не какой-нибудь…» – он произносил с презрением, скривив рот и все широкое лицо свое наигранной плаксивой гримасой, пуская даже слюну, отмерив пальцами самую мизерную щепоть. Но свою – «Палеев» – он произносил величественно, словно ценнейший груз поднимал, одновременно выпятив грудь и набычившись, оглаживая бороду и топая сапогом. Вздымался, восставал, утверждаясь в собственных глазах. С усилием выговаривал, словно чувствовал нутряную мягкость своего родового имени, затопленного половодьем гласных. Там, где должны были в его фантазии торчать, рокотать и звенеть твердые звуки, растекалась лишь плавная тихая гладь.

Почему именно щи он вспомнил? Этот суп у них варили из самой жирной солонины, так что густой бульон шел буквально слоями – есть его можно было только пылающим, иначе застывал, покрывал весь рот, губы, пальцы, которыми держал ложку, липкой тошнотворной пленкой. Отец вылавливал в сером вареве кусок сала, плотно посыпал его солью и, пыхтя, отдуваясь, жевал. Почему не суп из баранины? Отец покупал ее у татар, с которыми вел дела. Из тщеславия покупал – задыхался от нее, чихал и отекал лицом, но ел. Или тот же распаренный горох, с неизменной капустой, на свиных шкварках – старший брат Михаил очень его любил. Коренастый в отца, круглый лицом, смешливый, после того гороха он с наслаждением пускал газы в их мальчишеской комнате,

а потом удивленно круглил глаза – «Кто это? Ах, это ты, негодник!» –

и затевал с младшим Палеевым драку на подушках. Михаил с такой легкостью и полнотой усваивал все повадки и черты отца, так бывал похож на него, что вызывал у брата, нет, не зависть, но любовь, едва не сыновью. И чем больше Палеев осознавал за собой это, чем чаще замечал, что сам не способен быть, а возможно, и стать таким же, как они, тем больше эта любовь проникалась бессильной зависимостью.

В юношескую пору, когда неопределенное «я» вдруг становится неуклонно требовательным и таким острым, что едва не рвет кожу, Палеев всякий раз яростно злился на себя, когда не дюжил, разочаровывался в себе, пробуя и опять не достигая. Он буквально ненавидел себя и считал ничтожеством. Приобрел привычку молчать, отстраняться

и не участвовать. В его душе появилась и принялась расти особая зона безразличия, а потом и бесчувствия ко всему, что связано было с отцом и братом. А пытливый ум немедленно отозвался строительством целой сети объяснений, почему это происходит и зачем это нужно.

И все-таки именно щи – это интересно. Простейший исходный пучок звуков, определяющий извечное русское разлапистое расщепление. Фролищи, кустище, кострище, урочище, усище, кладбище, чудовище, стойбище, мощи, святилище, капище, хранилище, сонмище, скопище, кущи, туловище, глазищи… Нисколько не заботясь морфологической точностью, Палеев видел одно и то же расшелушивание многоточия. Без односложных твердых германских концов, без ущемленных инговых окончаний англичан, без взлетающих куропатками французских гласных – что-то едва приличное, словно растянулся на мокром полу.

Слуга Тихон разжег камин, устроенный по английской моде из некогда стоявшей здесь голландки – обложен все теми же ярославскими изразцами, – взбил подушки в кресле, как барин любит, принес поднос с кофейником и печеньем.

– Пожалуй, иди, Тихон, отдыхай, не понадобишься сегодня.

Тот молча поклонился и вышел. Палеев принялся за письма.

Отец просил денег. Он исписал три страницы, но за витиеватыми словесами, нелепо блуждающими между горделивым пафосом и смиренным унижением, читались неподдельная растерянность и просьба довольно крупной ссуды. Нет, он не указал просимую сумму, но как бы вскользь упомянул объем затребованных кредиторами долгов. Отец начал с привычного – вызвать сочувствие к тому, как несправедливо

с ним обошлись. Эта его манера была похожа на скромное постукивание той самой лисицы в окно той самой лубяной избушки. Акт первый – добродушный заяц выглядывает наружу. Но уже во втором, пока домовитый косой пытается продраться в потоке жалостливых слов

и понять, что же нужно гостю, лисица уже проныривает в его дом жертвой самой подлой несправедливости, которую только видел мир.

А в третьем акте придет пора культивированию чувства вины.

Палеев к своим уже за тридцать годам знал все эти маневры отца. Уже знал, что вовсе не со зла или даже по особому умыслу он их применяет. Да и вряд ли отдает себе отчет, вряд ли сможет все свои ужимки оформить как методическое руководство по тактике для прочих демагогов. Он действовал одним лишь животным инстинктом, когда-то давно нащупал эту практику, заглядывая в глаза своему визави, выслеживая его реакцию на те или иные слова и угадав наконец, как, единожды вцепившись в него, уже не отпускать и добиться того, чего от него хочет. «Не высовывайся, смотри, о чем народ. Твои книжки тебя не прокормят, и деньги не спасут. Деньги – в сущности пыль. Только люди, только их благодушием можно выжить», – говорил он, бывало, склонившись завораживающей тенью над маленьким Палеевым. В этом было что-то классическое, бальзаковское, до омерзения архаичное.

Палеев знал, что вертлявость отца, казавшегося ему некогда могучим светилом, вовсе даже не инструмент для него, а самая суть его существа. Спроси, и он искренне удивится, – а как же иначе, разве не все мы, Божьи создания, живем единым каноном, разве не все вот так. Дело лишь в том, кому повезет в этот раз, кто в этот конкретный момент оказался более изобретателен и изворотлив. Смотреть в глаза и не упускать из виду, стелиться вослед любому шагу. Помилосердствуйте, какой же здесь обман? И без смущения, не будучи оцарапан ни единым сомнением из тех, которыми устлан путь морального человека, он применял свое существо без всякого разбору ко всем – и дальним, и близким, и к тем, кого называл друзьями, и к собственным детям.

Осознаваемая ничтожность вызывает досаду на самого себя за то, что когда-то она тебя оскорбляла. Палеев уже и не сердился на отца. Бесчувственная зона его души была давно обустроена и стала тиха, как запертый дом. Он лишь усмехнулся. Пожалуй, даже злорадства едва лишь угадывается след. Лишь скучно очередное подтверждение догадки.

Когда же это началось? Не зародилось возможностью, но сделало неизбежной трагедию сына, который держит в руках отцовское письмо и ничего, кроме отвращения не чувствует. «Вру, сам себя обманываю, иначе не маялся бы сейчас воспоминаниями, не испытывал бы под кожей зудящую боль. Хотел бы, но нет». Палеев чувствовал, что даже если сожжет это треклятое письмо, его следы останутся на пальцах, чувствовал, что пусть не смысл, но дух отцовских слов проник в самую его кровь. Он словно бы слышал голос, и каждый звук его пробуждал во всем существе нутряной сокрытый зов. Палеев обхватил голову руками и едва удержался от того, чтобы в полном одиночестве не заговорить в ответ. Тяжело выдохнул.

Был у него друг Арсений, сын богатого мещанина Зайцева, что содержал на Ильинке несколько мелких домов и сдавал их в наем всякой разночинной публике. Его отец любил демонстрировать принадлежность к верхним слоям нижегородского общества, и потому семья Зайцевых воскресным выездом посещала именно Богородичную церковь на Покровке, аккурат в окрестностях которой жили Палеевы. В ходе одной из церковных служб мальчики и познакомились. Одного примерно возраста, с первого же взгляда схожего нрава – оба аккуратные, тихие, следуют за матушкой, стоят, где их поставили. К тому же старшие Палеев и Зайцев были поверхностно знакомы, хоть и без обременения совместными делами, при встрече дружелюбно раскланивались к обоюдному удовольствию. Всяко выходило, что их сыновьям кажется

и безопасно вместе, и полезно, дай Бог.

Поначалу мальчики во дворе топтались, присматривались друг к другу, а в следующее воскресенье уже притащили в церковь свои детские сокровища – переливчатые ракушки и оловянные солдатики – смотри, что у меня есть; Палееву пришлось спрятать раскрашенного гренадера под картузом, в карман тот не помещался. Затем, как взрослые, обменялись визитами и, обнаружив взаимное тяготение, зачастили гостевать. А вскоре и в гимназию вместе пошли, стали совсем уж неразлучны.

Парадная Покровка, вся в камне горделивых особняков, мало располагала к мальчишеским забавам, интереснее и просторнее было

в окрестностях Ильинки, укутанной кудрявыми садами, сбегающей прямиком к дамбе на Почайне. На ее задах, крутых заросших склонах оврага, друзья проводили целые дни напролет, рассказывали друг другу вычитанные в книжках истории, отыскивали диковинные штуковины среди брошенного местными обывателями мусора. По осени, когда особенно терпко тянет печным дымом, когда сумерки становятся золотыми и тени удлиняются, а утренняя мостовая с каждым днем все громче звенит, мальчики пекли на костре картофель и мечтали о будущем, заглядывая внутрь жаркого раскрытого пламени.

В том году октябрь прихватил морозцем посуху. На Покров снег не выпал, лишь нелепая изморось повисла и к ночи кое-где заблистала инеем. В голых садах на недоступных вершинах деревьев темнели одинокие яблоки. Друзья возвращались из гимназии и уж немного продрогли на ветру в своих форменных шинелях и фуражках, когда заметили грузовую двуколку, полную зрелых налитых тыкв, почти телегу, о паре лишь колес. Она стояла одиноко на повороте к дамбе, упертая в колоду; тыквы блистали солнечным светом на всю серую стылую улицу.

Палеев взмахнул портфелем и побежал к тележке, поддаваясь порыву внезапной радости, охватившей его при виде задорных плодов. Арсений устремился за ним, и вот они уже наперегонки. Лихо вскочил, не зная зачем, полез на самую вершину кучи, – тыквы покатились нежданной тяжестью, одна из них свалила Арсения с ног. Двуколка накренилась, высвободилась от колоды и бодро поехала. Палеева стряхнуло наземь, когда обитое железом колесо раздавило грудь его друга. Даже не вскрикнул, лишь сдавленный звук лопнувших легких. Тачка с треском ударилась в забор. Тишина. Палеев как-то сразу все понял, смотрел, как треснувшая побагровевшая тыква все еще катилась по брусчатке, но видел омертвевшее тело Арсения. Все застыло. Он побежал прочь.

Влетел в дом, не справляясь с собственным телом, рвал с себя шинель и фуражку; обвязанный вокруг шеи шарф едва не задушил его. Ужас содеянного взметнулся в юной чистой душе, пробуждая в ней, словно древних демонов, и страх, и злость, и гнев, и ярость – они восстали разом. Любовь, нежная любовь к другу отозвалась болью отчаяния.

Испуганная матушка выбежала навстречу. «Нет, ничего!» – рявкнул Палеев, отмахиваясь от ее заботливых рук. Закрылся в комнате, упал на кровать. Не открыл и брату. Кажется, не слышал даже, как тот стучал. Как снова и снова кто-то стучал в дверь. Взволнованные голоса. Крики. Видел одну и ту же картину перед собой – как оборванная лента, без продолжения. Снова и снова, одно и то же, как крутящееся колесо. И ничего не понимал. Пока дверь с треском не вылетела. В комнату ввалился отец и заполнил собой все пространство. Обхватил за плечи, тряс, прижал к груди.

– Андре-е-е-ей! Что с тобой?!

За ним – матушка и брат, за ними слуги.

Пили чай. Палеев все рассказал. Произнося самые страшные слова, он старался ни с кем не встретиться взглядом. Матушка всплеснула руками, зажала рот ладонью и будто опала – закрыла глаза. Брат ошарашенно смотрел то на нее, то на Андрея, то на отца. Тот помолчал несколько мгновений, затем медленно встал, хлопнув руками себя по коленям, перекрестился на образа.

– Так, теперь слушай меня. Вас никто там не видел?

– Не знаю. Я никого не заметил. Улица была пуста.

– А что вы уходили вместе из гимназии, видел кто?

– Мы всегда вместе уходим…

– Я спрашиваю, может ли кто-нибудь свидетельствовать, что вы были вдвоем в это время! – прервал его отец, заметно повышая голос.

– Мы задержались в классе математики, остальные ушли раньше…

– Значит, никто не подтвердит. А учитель, – рассуждал отец, – видел вас вместе лишь в классе, но не может знать, вместе ли вы ушли из гимназии – могли ведь и разойтись в разные стороны. Ведь так? Он не видел?

– Нет, он оставался в классе.

– Хорошо. Значит, так и порешим – вы задержались с математиком, а затем разошлись по домам, каждый своей дорогой. Все! То, что произошло, произошло без тебя. Ничего не видел и не знаешь.

– Я не хотел, все вышло случайно. Я же не виноват…

– Не хнычь! Ничего уж не исправить. А кривотолки нам не нужны.

Матушка закачала головой.

– Как же тогда… С таким грузом на душе…

– Молчи! И думать все забудьте! Поняли?! Ни единым словом, ни единым даже звуком виду не показывайте, что Андрюха был там. Черт его знает, что там случилось – понятно? Я спрашиваю, понятно?

Отец из каждого вытряс обещание молчать. Христом Богом заставил поклясться.

Может быть, тогда все и началось. Или неудержимо наклонилось

к окончанию. Палеев чувствовал, что все это, туго перевязанное, спутанное в его прошлом до сих пор никак не может закончиться, а лишь тянется привычной уже мукой.

Палеев не показывался на людях до самого Поста. Домашние говорили, что потрясение смертью друга обернулось для него тяжелой болезнью. «Терзает себя, бедный, за то, что в роковой момент не оказался рядом с любезным Арсением, упокой, Господи, душу его. А что тут сделаешь, чем поможешь? Тележка та немереных же пудов, разве совладать с ней отроку», – говорил отец всякому, кто с расспросами

и сочувствием обращался, охал и крестился, закатив глаза.

Палеев и действительно занедужил, переживая всякий новый поворот зловещей истории, как новый приступ тяжелой ядовитой хвори. Слышал, как приходили Зайцевы, – отец сказал, что «допытывались» до Андрея. Мама Арсения разрыдалась под конец разговора, так ее, плачущую, супруг и увел. Потом полицейский урядник – этот был формален, приходил составить протокол («прошу подписать, вот здесь, пожалуйста»), но опросил всех, включая слуг. Пока он был в доме, отец не отставал от него ни на шаг и свирепо зыркал из-за его спины на всех опрашиваемых. И в гимназии понадобились объяснения, и всем знакомым. Эту историю в городе обсуждали до Рождества, потом лишь улеглось, утвердилось, как уж кто для себя ее разрешил, но общее представление сложилось вокруг той версии, что, мол, несчастный случай. Но ведь подумайте, как же мальчишка под тачку-то эту попал, а? Может, и крутили домыслы, но уж в открытую не обсуждали. Суд обязал несчастного хозяина тыкв уплатить немалый штраф в пользу Зайцевых, на том и всё.

Палеев не плакал. Первые дни, полные самого горячего ужаса, он почти не вставал с постели, смотрел в стену, на рисунок обоев, не смог бы сказать, о чем думал, а спустя время в изнеможении засыпал, не замечая день ли сейчас, или ночь. Брат заметно избегал бывать с ним. Мама неусыпно ухаживала, удерживая заботливыми руками его бессильную среди морока жизнь.

Слезы пришли позднее. Когда он вдруг, как жемчужину в скользком теле моллюска, нащупал в своем горьком смятении неотвечаемый вопрос: почему он сбежал? «Почему я не позвал на помощь?» Спустя время Палеев мог бы предложить целый ворох возможных объяснений, но не мог вспомнить тот самый момент, не мог заново его прочувствовать и понять, почему же на самом деле. Слезы пришли горючие, неостановимые, без всхлипов и болезненных гримас. Палеев плакал молча, лишь вздрагивая худыми плечами и дрожа, осознавая, что нелепая смерть друга, завернутая в обман, ничего для него не закончила, что освобождение не наступит, а его душевные страдания ничего не искупят. Смерть отныне будет частью его жизни. Будет сидеть на загривке черной тенью, так что не достать ее рукой, не стряхнуть, все крепче

с годами врастая в его хребет, все тяжелее клоня его к земле.

В нужный момент не посмев ослушаться отца, по привычке предпочтя не перечить ему и отклониться, он уже не мог и не сможет никогда вернуться в тот хрустальный октябрь, в тот оборванный день

и успокоить маму Арсения и его отца простою чистою правдой. И себя успокоить не сможет просьбой о прощении. Не сможет покаяться.

Однокашники приняли его возвращение с настороженным любопытством. Приглядывались к нему за спиной, словно хотели понять, изменилось ли что, и сторонились. Но вскоре все позабыли, и в класс вернулось обычное настроение подростков, застигнутых между штудированием уроков и беспамятным озорством. Тяжелее пришлось с учителями. Каждый из них, даже строгий и холодный, как замковая стена, историк счел нужным проявить сочувствие, чем едва не доводил Палеева до истерики. А директор гимназии попросту вызвал его к себе и без обиняков попросил подтверждения, что тот-де в порядке и продолжит учебу. По мысли директора, видимо, необходимо было это именно проговорить, чтобы таким образом закрыть вопрос, но Палеев в этот момент чувствовал себя попавшим в дробильную машину. Методичность педагога насиловала его мятущуюся душу.

По собственному желанию Палеев пришел лишь к Лавру Пантелеймоновичу Соткину, тому самому учителю математики, у которого они с Арсением и задержались в тот роковой день. Пожилой уже мужчина, ходивший опираясь на дубовую палку и постоянно забывающий тут и там свой портфель, словно норовил наконец и вовсе его где-нибудь потерять, разделил утрату юноши со смиренным пониманием. Будучи последним взрослым, который видел Арсения живым, который выпустил его из гимназии, он также чувствовал необъяснимую вину. Горячо ухватил Палеева за руки, усадил и, пока закипал чайник, выставляя звенящие его волнением стаканы, вазу с сахарными сухарями, то похлопывал ученика по плечу, то поглаживал его по голове, словно старался успокоить. «Ничего, ничего, все образуется», – приговаривал.

Палеев очень любил старого учителя. Он преподавал строгую математику, словно читал детям вслух увлекательную книгу. Из его рук она выходила стройной и простой, как житейская мудрость. Мог запросто отвлечься от формул и теорем и пуститься в рассказы о Птолемее, Копернике, Кеплере, словно о своих приятелях, вспоминал Кулибина,

с которым взаправду был знаком мальчишкой. Еще какого-то Синицына упоминал, неизвестно к чему, – тот строил телескоп в Нижнем, но потом уехал в Казань. Лобачевский! Лавр Пантелеймонович очень гордился Лобачевским.

По следам этих необязательных в гимназическом курсе рассказов Палеев со своим другом шел из классной комнаты в кабинет учителя, где тот посвящал их уж не математике, но всему тому, что та описывает, –

весь огромный мир, переходящий и наружу, и внутрь в немыслимую бесконечность, манил завороженных мальчишек огнями и тайнами Купаловой ночи.

Инаковость юного Палеева, отстраненность его от ствола семьи всякий в доме переживал по-своему. Матушка нежила его, берегла, порой казалось, что с чувством досады, предполагая в сыне некую человеческую, тем паче мужскую слабость. Бывало, Палеев при всех ласках замечал в ее глазах горделивую строгость, в которую она облекала недовольство свое, будучи натурой сдержанной и исключительно щепетильной.

Отец же словно прищуривался, разглядывал, поначалу пробуя в обращении с сыном разные свои приемчики и как-то сразу отставив обычную свою грубоватую манеру. Лишь от извечной насмешки избавиться не смог. Пробы эти ему плохо давались, с удовольствием срывался, а затем кидался в панибратское дружелюбие: «Ладно, парень, брось.

Уж такой я человек – жесткий, но не со зла же». Палеев довольно рано понял, что отец его не столько жесткий, сколько жестокий человек, которыми бывают слабые, разобранные люди с настолько простыми суждениями, что, сами это чувствуя за собой, вынуждены симулировать сложность целыми потоками, буквально реками слов.

Подобным многословием изошло и его отношение к «младшенькому». Что-то решив для себя на его счет, отец словно махнул на Палеева рукой, благо «на подхвате» всегда был старший, Михаил, который

в полной мере выказывал и породу палеевскую, и готовность соучастия батюшке. С ним отец был деловит, частенько призывал его, брал с собой в контору, порой и на встречи с партнерами своими, приваживая к семейному делу. Младшему же осталась одна насмешка, порой хлесткая с блеском глаз, порой смягчаемая, как с юродивым: «Может, тебе фамилию-то сменить, а? Мамкину, может, возьмешь, раз уж не способен ни на что?»

Брат воспринял формирующийся в доме уклад как признание и старшинства, и достоинств своих. Переживая сыновью почтительность

в ранней ее фазе восторженности отцом, Михаил всячески ему подражал и старался еще больше нравиться. Естественная детская ревность к вниманию и заботам матушки, которые, как ему казалось, младшему Палееву были отмерены большей мерой, к особенным манерам брата, которые отмечали все вокруг, к тому, например, какие книги он находит для себя интересными, чему даже и отец удивлялся, были с лихвой компенсированы установившимся положением его как наследника, не только по старшинству формального, но и сущностного. «Кровинушка моя! Пале-е-ев!» – восклицал отец, порывисто прижимая его правой рукой к груди, и трепля его волосы, и с жаром целуя в лоб сквозь косматую свою бороду. Борода его, огромная, пробитая сединой, пахла теплым чуть закисшим молоком.

А потому Михаил, скорее, избегал брата, чем пытался выяснять с ним отношения, поделить с ним общее пространство родительского дома.

Однажды старший Палеев засобирался на охоту, уток пострелять. Было это на следующий год после смерти Арсения. Отец всегда считал себя охотником, любил рассказывать, как в юности гонял зайцев, ходил под Сергачом на кабана и лося, с удовольствием показывал сыновьям пару своих ружей – «этим хорошо птицу бить, а это уже посерьезнее, чисто пушка! немецкое» – ножи, патронташи и расшитый тесьмой ягдташ. Но на охоту при этом не ходил. А тут засобирался, подняв в доме страшный шум и ругаясь, что ничего невозможно отыскать, – слуги даже попрятались по углам. Оказалось, что его пригласил управляющий чулковским имением князя Голицына Петр Ильич Самохов, человек среди нижегородских купцов известный, ухватистый, не только хозяйством патрона распоряжавшийся, но и ведший прочие его дела на Оке и Волге. Отец смекнул, что тот хочет новые подряды обсудить за совместным времяпровождением, был возбужден, в особенности тем, что, быть может, встретит в Чулкове и самого князя. «Мишка!.. Впрочем, нет, Андрея возьму. Взбодриться тебе надо, кровь погонять. Поедешь?» Палеев с готовностью согласился. Он и сам чувствовал необходимость перемены, отдыха перед новым годом в опустевшей без Арсения гимназии. И сама по себе охота, с ее кашей на костре, пальбой и запахом пороха, манила и будоражила его мальчишескую фантазию.

Они провели в Чулкове три дня. Князя в поместье не было, и Палеевых устроили в барском доме как почетных гостей, притом что сам Самохов жил во флигеле. Затемно поднимались, ехали в заболоченные луга, степенный Самохов чутьем отыскивал место, где им хорониться. Пока псарь настраивал собак, приготовлялись. Палееву казалось, что

в качестве такой вот легавой отец его и взял, так уж тот увлекся охотничьим азартом. А, собственно, зачем еще, он, такой далекий, почти чужой, отцу был здесь нужен. «Андрейка, Андрейка, смотри! Давай же!» – кричал Палеев-старший, завидев поднявшуюся из болотной травы птицу.

Дергал сына за рукав, не позволяя прицелиться, и – «Ну что же ты?!» –

стрелял сам. Да и чем похвалиться перед княжеским управляющим – все у него было, кроме собаки. Суетился, упруго бегал туда-сюда, чуть сам в болото не лез, но лупил из ружья часто и метко. Потом радовался, как ребенок, оглаживая тушки подбитых уток, расправлял их безвольные крылья – «какая красота!» – укладывал головки на вялых шеях одну к другой. Казалось, о делах-то вовсе позабыл.

Палеев был поражен этой звериной гармонией отца с природой. Самохов пребывал в ней, как лопасть маслобойки в плотной массе молока, – всем своим существом нарушал принятый порядок исходной дикости, пробуждал природу к работе и заставлял сокращаться ее мышцы. Отец же словно растворялся в открывшемся просторе, принимал

и здешние законы, и доступную ему роль, непосредственно чувствовал все токи и течения, проницающие окружающее пространство, и потому был стремителен и неудержим, словно бы и сам становился переливчатым в красках осени селезнем. Радостные собаки вились за ним без принуждения и команд, признав за своего.

Палеев был очень смущен, заметив, что и сам неожиданно для себя поддался охотничьему угару до стыдной дрожи в руках. Отец дал ему ружье полегче, сам же бегал с немецкой «пушкой», что разом покрывала сетью дроби и пару, и тройку птиц, если им не повезло подняться вместе, кромсала им крылья, рвала бока – многие подранки так и остались умирать в осоке. А вот это легкое, стройное ружье, с резным цевьем, ухватистым и ладным прикладом, стреляло настолько кучно, что совершенно исключало право на неряшливость. Нужно было поймать птицу на мушку и вести ее, предугадать полет, выдохнуть перед выстрелом. Это удивительное зрелище – сломанный полет. Первый раз бахнул – едва не опрокинулся навзничь, задохнулся в едком пороховым дыму, но попал, увидел, как, тяжело и неловко хватаясь крылом за воздух, падала утка; пегий пойнтер уже изловчился поймать, придушить ее на земле. Палеев беспокоился, какое впечатление он оставит по себе спокойному размеренному Самохову.

В последний вечер за ужином Палеев почувствовал себя оглушенным всей суматохой последних дней. Возбужденность не отпускала, несмотря на явную усталость, и изматывала его. Он с удовольствием поел, выпил со всеми бокал красного вина за удачную охоту и отпросился спать. В комнате он нашел «Происхождение видов» Дарвина

с приложенной запиской от Самохова – «На память».

Тот подарил отцу и сыну еще и по сундуку, мастерски изготовленному в поместье, и обратный путь они проделали, неудобно стеснившись

в нагруженном разнообразной поклажей тарантасе; поднятую утром

с ледника добытую дичь сложили в мешок, и тот холодил Палееву ноги. Всю дорогу отец говорил о предложенном Самоховым подряде на перевозку щебня и песка, не столько посвящал сына в дела, сколько просто рассуждал вслух – нужны были дополнительные баржи, имеющийся семейный флот не справится с заказом, нужно ходить по Каме и Вятке, нужно брать кредит.

Между делом отец привычно посмеивался над Самоховым. Во время визита выказывал ему всякое почтение, стремился угодить, едва не лебезил перед ним, невзирая на сословие – «деловому-то человеку сразу видать, какой порядок в поместье, всякий работник и вещь к делу пристроены сообразно способностям и надобности. И не выражу словами, какая честь для меня знакомство с вами, любезный Петр Ильич!» А теперь уж называл выскочкой, припомнив, что тот был сыном самовыкупленного крепостного – «если б не благосклонность князя, знать бы тебя никто не знал», – чванливым гусаком, раздражаясь хладнокровием и осанкой Самохова, недоступными для него самого, и, уж в довершение, простофилей, которого он, Палеев, уж конечно, обведет вокруг пальца – «контрактик-то я ему процентов на десять взогрел супротив действительной цены. То-то!» Сын отца едва слушал, прикидывая, что спрячет в своем новом сундуке.

Кредит на новые баржи и догнал отца спустя годы. Сначала все пошло удачно, и настолько, что старший Палеев не спешил гасить долги,

а в счет возросшей прибыли принялся за операции на Урале. Они потребовали частых поездок, отца почти не бывало дома, и традиционные дела его постепенно стали расстраиваться. К тому же и на Урале не очень приняли – пришлось возвращаться с убытком, и самоховские подряды, хоть и оставались твердыми, но уже не справлялись с долговым бременем. Отец заметно запаниковал, даже продал меняльную лавку, одну из известных в Нижнем, стал резок и совершенно не воздержан с домашними, особенно с Михаилом, которого превратил буквально

в мальчика на побегушках. Лишь спустя три года ему удалось выправить дела. К этому моменту подряды на песок и щебень иссякли, долги хоть и сократились, но продолжали нависать над семьей Палеевых.

Андрей же все эти годы прилежно занимался учебой и возделыванием своих неместных дум, не имеющих ничего общего с заботами отца. Он тесно сошелся с Самоховым, который теперь частенько бывал в их доме и выказывал младшему Палееву особое внимание и расположение. Они говорили о теории Дарвина и прочих теориях, которые в то время клубились в большом мире, о литературе, математике. Палееву казалось, что Самохов бывает искренне удивлен им и действительно находит юношу интересным для себя собеседником. Несколько раз они встречались в городе, минуя дом Палеевых. Самохов, предупредив запиской, встречал его после занятий, и они катались в коляске по улицам или ехали на прогулку в сады. Этот неожиданно появившийся

в его жизни старший товарищ, заменивший Палееву прерванную дружбу Арсения, еще более отдалил его и от однокашников, и от семьи.

Их отношения не были в доме тайной и никого не беспокоили. Пока однажды отец вдруг не попросил от сына объяснений. «Почему это Самохов вдруг заговорил со мной об университете для тебя?» – вдруг спросил он за обедом, не поднимая глаз от тарелки супа и продолжая хлюпать ложкой в бороде. Для Палеева это прозвучало неожиданно, сам Самохов никогда с ним об этом не заговаривал. Но услышать такое было приятно. Само по себе слово «университет», употребленное по отношению

к нему, звучало как признание, являлось своеобразной наградой. Чувство тайного превосходства согрело юношу и отразилось улыбкой в его глазах. «Я ничего об этом не знаю». – «Хорошо. Вот и забудь. Пустая блажь, дело нужно делать. Хоть и ни к какому делу ты видно неладен».

Но сказанного, тем более услышанного не воротишь. Отныне призрак далекого университета, залитого, как представлял себе Палеев, солнцем сквозь огромные окна, поселился в их доме и неотступно следовал за ним.

При очередной встрече Самохов с этого и начал разговор: «Андрей Васильевич, вам нужно поступать в университет. Подумайте об этом серьезно. Времени на подготовку к экзаменам мало. Со своей стороны, готов помочь, чем смогу». Он был прямолинеен и без стеснения

презрителен, говоря о купеческой судьбе, буде тот не решится и останется в лоне привычного порядка. «С первой же нашей встречи, когда батюшка ваш, Василий Матвеевич, привез вас на охоту, я разглядел натуру неординарную. Видит бог, вы обладаете всеми качествами человека, достойного блестящей судьбы. Я не соблазнить вас хочу увещеваниями, лишь показываю путь. Дела именно так и обстоят – либо вы обеспечите ум свой надлежащей и правильной пищей, либо позволите ему зачахнуть в зевотной тоске. Я могу быть чрезмерен в своих высказываниях, за что прошу извинить, но не в суждениях своих. На оных я настаиваю и да, требую к ним вашего самого пристального внимания».

Палеев почувствовал было в Самохове то же давление, тот же обволакивающий натиск, свойственный и его отцу. Он хоть и сидел сейчас рядом на скамейке, но так же, как, бывало, отец нависал над ним, заглядывал в глаза. Однако давление это было приятным, Палеев с удовольствием ему поддавался и не столько благодаря открывающимся перспективам, о которых он имел лишь смутное представление, сколько из желания наконец-то сбежать. Ото всего тягостного, чем – сейчас он это ясно понимал – была наполнена его жизнь. Все, что окружало его, вызывало лишь ощущение неизбывной обузы, ярма. «Заберите меня с собой! – хотелось ему крикнуть в ответ. – Я сделаю всё. Всё! Я всё смогу! Только заберите меня».

Но он сдержался, лишь выпалив: «Спасибо, я подумаю».

Разрыв обеспечил отец. Едва услышав о решении сына поступать

в университет, он сорвался черной бранью. Затрясся, побагровев, вскочил из-за стола и попер на сына, сжимая кулаки. «Ах ты, негодник пакостный, собака злая! Мне же помощь нужна, сукины вы дети, а ты –

нож в спину?! Предать нас всех хочешь, со свету сжить, тварь неблагодарная». Он хрипел и плевался. «Сейчас будет давить на жалость, –

подумал Палеев, внутренне пережидая приступ отцовской ярости

в комнате бесчувствия своей души. – Может и ударить». Губы его дрогнули, он невольно поднял руку, чтобы защитить себя, и это его движение отца остановило. В его глазах промелькнул испуг. «Уходи прочь! И на глаза мне больше не попадайся. Как хочешь, так и живи. От меня ничего не получишь», – выдохнул Палеев-старший.

Андрей переехал на время к двоюродной тетке матушки, на окраину, к Сенной, с новым своим сундуком, полным книгами, и парой кульков. У него было немного своих денег, мама втайне от отца сунула еще пачку ассигнаций.

Через неделю Самохов взял его к себе младшим приказчиком, и Палеев целый год практически не выходил из-за стола, окруженный учебниками и счетными книгами. Страшно уставал, но был безмерно счастлив оборвать наконец жизнь, которую вел долгое время за счет именно того, что так горячо, со всей непреложностью выявленного закона презирал

и ненавидел. Как-то он подумал: а что если в мире ничего другого и нет? –

как же жить, испытывая жгучую брезгливость к рукам, которые единственно и могут тебя прокормить, о чем эта жизнь и чего она стоит, и жизнь ли это вообще, и разве не честнее ее просто оборвать. Подумал и содрогнулся холодом. Теперь же он словно излечился, вытравил из своего тела липкую заразу и был чист. Спасибо, Господи, что ведешь меня.

Отец отыскал сына уже через несколько месяцев. Снова и снова его отыскивал. Как волна накатывает на пирс, а затем отступает, он приносил с собой невыразимую просьбу вернуться, но уходил, так и не высказав ее, словно и сам понимал, что ничего исправить или изменить нельзя. Его старший сын Михаил, посланный фамильным представителем в Москву, оставшись наконец без родительской опеки, но с родительским благословением, приобрел привычку к кутежу и пустому бахвальству. Вернулся потасканным бонвиваном с целой кипой шелковых жилетов и без надежных связей. Блестящие женщины и офицеры, с первых же дней обступившие молодого купчика, легко его отпустили, как только ему пришлось съехать из квартиры в Китай-городе. Ни од-

ного контракта он не заключил, ни в один приличный дом не попал.

Матушка, тяжело переживая исход младшего сына, привычно приняла всю вину за разрушение семьи на себя – часто ходила в церковь, как могла сдерживала и умиротворяла вспыльчивость супруга. Может быть, тогда что-то в ней безвозвратно повредилось и пришла та болезнь, которая в конце концов высосала ее жизнь.

В последний год обучения Андрея в гимназии отцу Палеева вновь изменила удача. Старые его расшивы постепенно приходили в негодность, и вот две из них затонули со всем грузом на Ветлуге. Новые корабли строить не хватало капитала – того и гляди его могли исключить из второй купеческой гильдии. Василий Матвеевич как мог удерживал хозяйство на плаву, а любимчик его, «наследушка» Михаил, не способный ни к какой самостоятельности, лишь без толку мешался под ногами. Энергичный и угодливый, всячески к себе располагающий добродушной улыбкой на широком лице и приятными разговорами, старший брат Палеева постоянно оказывался словно бы не к месту. Все распоряжения отца выполнял с готовностью, но не прикладывая к ним ни малейшего усилия ума собственного, – выходило всякий раз вхолостую. Отец было собирался выделить ему собственный капитал, но поостерегся, выделил лишь небольшое содержание, на которое тот немедленно отыскал квартирку на Нижнем базаре и съехал.

Тогда отец появился вновь. Словно и не было последних лет, он, как ни в чем не бывало, сразу заговорил о возвращении сына как о решенном вопросе, понизив голос, доверительно – о делах семейной фирмы, об его грандиозных планах, а дальше беззастенчиво начал соблазнять перспективами, повторяя младшему сыну все те слова о наследовании, которые прежде говорил старшему, и охаивая теперь уже Михаила, как прежде оскорблял Андрея. «Ничего-ничего, будем вместе работать – все наладится. Слушай отца, я – мозг, центр тяжести, я построил нашу семью, я ее и спасу». «Сейчас начнет торговаться», – подумал Палеев, твердо отказав отцу, невзирая на увещевания. Но тот решил в этот раз перейти к жалостливой мизансцене, предпочтя экзальтированную трагикомедию внутренней молчаливой драме. Видимо, эта попытка, когда он заговорил и о своем здоровье, и о страданиях матушки – «Маму не трогайте!» – оборвал его Палеев, – а потом об искренней любви к сыновьям, которые оба так к нему несправедливы, попытка, старательно наполненная слезами, но, как и прочие, отвергнутая сыном – даже она! –

ранила отца всего сильнее. «Ладно, что ж, добивай отца, я пред сыном своим единокровным беззащитен», – сказал он, разводя руками. Смял шапку и уж уходить собрался, но повернулся: «Бога хоть побойся».

А через неделю, вероятно, выждав эффект от последнего визита, отец поймал Палеева у гимназии, чем не на шутку напугал его. В зипуне пришел, подвязанном веревкой, что-то затараторил, хватая того, спешащего вырваться, за руки, не пускал его, удерживал, привлекая внимание

прохожих. Палеев не разбирал даже слов, так хотелось ему достичь спасительных дверей. Но отец увязался за ним и внутрь, а в холле, где

и привратник гимназистский, и ученики гурьбой, и наверняка кто-нибудь из учителей, вдруг отстал, и Палеев услышал за своей спиной громкий, язвительный окрик: «Тыквы-то помнишь, не-год-ник?»

Пламя горячего стыда охватило все существо Палеева. Он остановился на лестнице на полшаге, словно внезапно оказался прикованным к той злосчастной тележке кандалами. Медленно повернулся. Отец стоял под портретом императора, словно грозил его именем и ждал. Казалось, все ждали. Казалось, все слышали этот вопрос и ждали ответа. Казалось, само время остановилось и без его ответа уже не сможет пойти вновь. Палеев, едва чувствуя себя, медленно спустился с лестницы и подошел к отцу. Ему стоило невыразимого усилия выговорить, глядя прямо в глаза: «Помню». Ему казалось, что отцовское лицо гнется и ломается, меняет цвет, утрачивает реальное воплощение. «Вам не семья нужна, батюшка, вам нужны слуги. А я – всего лишь ваш сын». Развернулся и быстро ушел наверх.

Палеев поступил в университет и переехал в Москву с ощущением, что никогда больше не вернется в Нижний. Стараниями Самохова обустроился скромно, но надежно, получив место домашнего учителя отпрысков сразу нескольких купеческих семей. Эти знакомства очень пригодились ему, когда он, окончив курс, пошел по финансовой стезе. За несколько лет, располагая доверием крупных вкладчиков и управляющего самого князя Голицына, Палеев добился места младшего партнера в банке уральских золотопромышленников. Со временем его партнеры, которые преимущественно занимались строительством, транспортом

и производством, попросту выкупили банк, перерегистрировав его как Первый индустриальный, и Палеев стал председателем правления, одним из самых молодых в такой должности во всей России.

Известие о болезни матушки застало его в Париже. Когда он приехал в Нижний, впервые после отъезда в Москву, ее уже схоронили. Остановился в гостинице, нарочно подальше от родительского дома. Собирался убраться отсюда сразу же после посещения матушкиной могилы. Отец, заметно осунувшийся, но все такой же насмешливый, хоть и не разобрать было, над кем именно он теперь подтрунивал, встретил приветливо, но, кажется, не знал, как себя с ним вести, и заметно избегал сына. Михаил увязался с братом на кладбище.

Что ни будет сказано, не возымеет никакого смысла, это чувствовали оба. Лишь несколько обязательных безвкусных слов. Положив цветы

в изголовье, под самый надгробный камень, Палеев молча постоял, наклонив голову, чувствуя, как старший брат обнимает его за плечи, легонько, словно готовый по любому знаку убрать свою руку. «Отец очень вас любит, Андрюша, просто он такой человек», – говорила мама. «Он вовсе не знает, что такое любовь», – отвечал он. «Ну и что…» – мирилась она.

Вспомнил и другое. «Мать-то ваша дура. Но честная. Слушайте ее…» – отец словно сам удивился своим словам, не разобрал, что значит их – ну а что здесь особенного? – порядок, и не смог продолжить. Только несколько раз потряс назидательным пальцем.

Михаил выпросил немного денег, а затем пригласил брата в трактир помянуть.

Палеев перебирал в руках омертвевшие листы письма, на мгновение растерявшись, куда бы их деть. Наконец, бросил в камин. Сел за стол,

зажег лампу и сам принялся писать. «Ваше превосходительство! –

начал он медленно, формируя в уме будущий текст, затем все быстрее и тверже, по мере того как мысль оформлялась, пока не сложилась окончательно. – Рискуя злоупотребить Вашими любезностью и всегдашним расположением ко мне, обращаюсь с нижайшей просьбой….» Он не хотел давать отцу денег, ни просто так, ни в долг. Он вообще не хотел иметь к этому делу никакого отношения. Но и сбежать уже было некуда. Палеев посчитал правильным избежать отцовского сыну долга

и через третьих лиц обеспечить того подрядами, ввиду которых кредиторы отзовут свои требования. Теперь он писал крупному министерскому чиновнику, с которым в последнее время обсуждал модели залогового кредитования государственных заказов.

Палеев был неплохо осведомлен о текущем положении дел отца, знал его твердые возможности и сейчас в письме ничего не просил сверх них. Достаточно было лишь обеспечить отцовской компании гарантированную двух-трехлетнюю навигацию, что было сущим пустяком для министерских оборотов.

Утром отдал письмо Тихону.

– Отправь, пожалуйста, поскорее, с курьером отправь, дело неотложное. И знаешь что… Запомни отныне и навсегда – если придет Василий Матвеевич Палеев, то не пускай его.

– Это как же, Андрей Васильевич? Батюшка же ваш…

– А вот так, не пускай. Скажи, нет меня, когда буду, не знаешь, уехал, мол, в Берлин, в Париж, да хоть в Америку. Да хоть и вовсе умер, скажи, – не пускай и все. Понял?

– Воля ваша, конечно. Не пущу.

Затея Палеева удалась. Его отец получил подряды в объеме, даже

и сверх необходимого для реструктуризации долга. Палеев слышал, что тот принялся обновлять свой грузовой флот и даже прикупил пассажирский пароходик – попробовать, так сказать, новое дело. А в придачу завел и молодую содержанку, ни сном ни духом не ведая, чем его сыну придется расплачиваться за оказанную министерским чиновником услугу. Отец вернулся к деятельной жизни в полном палеевском объеме – с жирным, аж лоснящимся бахвальством и разглагольствованием о порядочности

и справедливости. В Нижнем не было буквально ни одного вопроса, в котором не всплывал бы Палеев-старший с ворохом записок, требований, воззваний и апелляций. С той лишь разницей от того, молодого Василия Матвеевича Па-ле-е-ва, что среди «мерзавцев», «подлецов» и прочих «прохиндеев» все чаще попадались его сыновья, особенно младший из них, «отрезанный ломоть». «Просил ведь, как отец просил. А он что –

до унижения меня довел, а потом, как пса шелудивого, вышвырнул. Пшел, говорит, прочь, ни копейкой не выручил. Ну, ничего», – Палеев представлял, как отец размашисто крестится. В эту минуту наверняка верует – доброго Бога легко любить. «Господь все видит, накажет негодяя, как пить дать накажет, а мне, горемыке брошенному, не дал пропасть.

Я сам все сделал! Сам себя за волосы вытащил, как уж не раз бывало…..»

Тут уж можно и занавес давать, думал Палеев, ухмыляясь новому подтверждению своих догадок, слов на этой сцене немало припасено, водою пустою долго будут исходить. Пускай забавляется.